

Профессора филфака довоенной школы, ученые на митингах 1980-х и самиздат под носом у КГБ

<http://oralhistory.ru/talks/orh-2129>

1 июня 2017

Собеседник

Мочалова Виктория Валентиновна

Ведущий

Гершович Анна Семеновна

Дата записи

Беседа записана 1 июня 2017 и опубликована 28 декабря 2017.

Введение

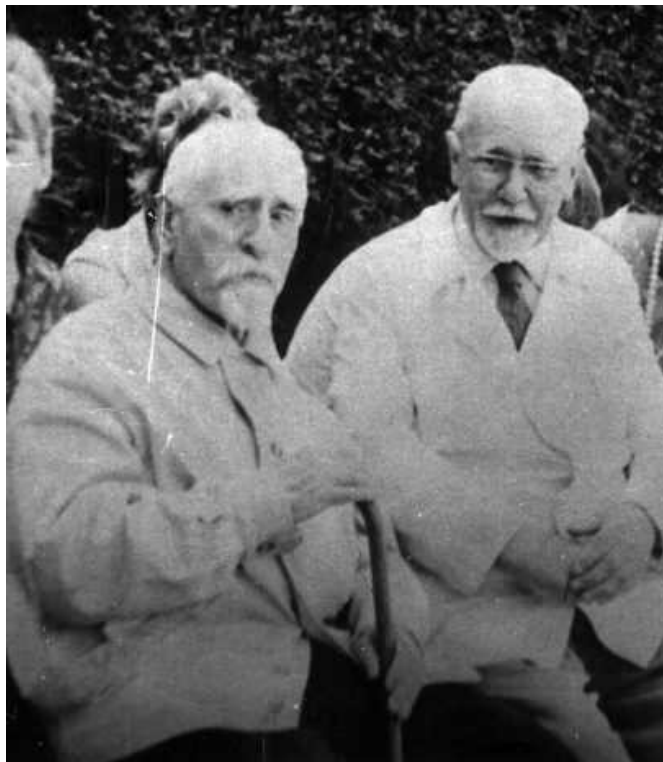
В первой беседе филолог Виктория Мочалова рассказывает о замечательных знакомствах: с легендарными профессорами филологического факультета МГУ Сергеем Радцигом, Ильей Толстым, Николаем Либаном, Самуилом Бернштейном, с выдающимся музыковедом и уникальным рассказчиком Лео Мазелем, со старшими коллегами из Института славяноведения Владимиром Топоровым, Вячеславом Ивановым и о неподцензурной жизни, расцветавшей параллельно линии партии и правительства.

О филологическом факультете МГУ и его преподавателях в 1960–е

Анна Семеновна Гершович: Сегодня 1 июня 2017 года, и мы разговариваем с Викторией Валентиновной Мочаловой.

Виктория Валентиновна Мочалова: Мне очень приятно — и особенно мне приятно потому, что я, выпускница филфака МГУ, конечно, никогда не могла бы себе представить, что я буду участвовать в проекте Виктора Дмитриевича Дувакина. Я помню все эти переживания, эти драматические события с его изгнанием и с тем, как все выступили на его защиту, потому что он был, конечно, человек уникальный, царствие небесное, и для меня большая честь, конечно, хоть как-то вписаться в его проект. Спасибо вам за это. Ну вот я выпускница филфака МГУ, и я счастлива, что мы застали еще, мое поколение, вот этих последних могикан, этих великих и замечательных наших профессоров. Я помню Радцига, который читал античную литературу. Он был похож на бело-розовый зефир: такой совершенно седой и с розовой кожей. И он... Мы считали его вечным, просто вечным, потому что ходили такие легенды, что у него первые труды по античной литературе выходили в 1888 году... Разумеется, нет, но легенда важнее, и Радциг был несравненный. Он, например, на лекциях своих мог километрами читать какие-то латинские стихи, аудитория тупо ожидала перевода, а он, закончив чтение, говорил: «Так-то вот».

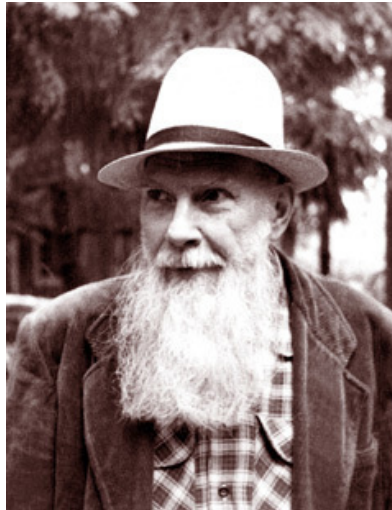
А.Г.: Перевода не следовало.



С.И. Радциг и А.Н. Попов в сквере перед зданием Университета на Моховой. Фото с oloosson.com

В.М.: Перевода не следовало. Ну что вы, ну в такой аудитории — это Московский государственный университет, филологический факультет. О каком переводе речь? Когда кто-то опаздывал и всовывался в аудиторию с опозданием, он говорил: «Студент... —сохраняя вот эту музыку латинского языка, — студент Петров, вы опять опоздали на лекциям!» В падеже. Он был совершенно, совершенно замечательный, и были такие люди — еще мы их застали, и это счастье. Например, Илья Ильич Толстой — теория перевода. Он был абсолютной копией своего... Сейчас, подождите. Дедушки или прадедушки. Илья Ильич. Он сын Ильи Львовича Толстого. Дедушка. Значит, и он, так же, как и его сын впоследствии, Никита

Ильич, — они немножечко так стилизовались под Льва Николаевича, потому что они ходили в этих косоворотках, вервием подпоясанные. Портретное сходство было. И вот Илья Ильич по поводу перевода говорил: «Перевод как женщина: красива, но неверна; верна, но некрасива». А когда у меня были какие-то проблемы на защите диплома, где мне поставили на вид... Это было такой специальной оговоркой (или как это называется — особое мнение?) — «поставить на вид немарксистское отношение к модернистским явлениям литературы и искусства». Поставили. У меня был театр абсурда. Поставили «пять», но вот это было занесено — немарксистское отношение к модернистским явлениям литературы и искусства. И, когда я вышла из аудитории, Илья Ильич мне сказал: «Дитя! Я очень вас понимаю. Я тоже всегда отстаивал свое мнение — даже в гестапо!» Сказал с французским акцентом.



И.И. Толстой. Фото с tolstoys.ru

Мне посчастливилось потом, уже в Институте славяноведения Академии наук, работать с его сыном, Никитой Ильичом (тоже царство небесное) Толстым. Это был выдающийся человек, замечательный во многих отношениях. И с таким чувством юмора. Таким, знаете, не шутейным и не анекдотическим, а каким-то таким глубинным. Например, такой эпизод. Мы с Никитой Ильичом Толстым работали в журнале «Советское славяноведение». Он был член редколлегии. Я заведовала отделом литературоведения и культуры. И вот наш главный редактор говорит нам... Стоим Никита Ильич и я. И он говорит: «Как же так, вот тут какая-то ужасная вещь, вот в этой данной какой-то статье о славянских древних обрядах и обычаях древних славян говорится о том, что славяне оставляли своих стариков умирать, убивали и так далее». А времена брежневские, надо сказать. «Как же это может быть? Это же славяне! Славяне такие добрые, благодушные, милосердные! Это надо непременно снять». Я молчу, а Никита Ильич говорит: «Мда. Это неуместно в условиях нашей геронтократии». Все! На этом точка, он не продолжает, но это просто — этим сказано все. Он совершенно был замечательный, необычайный человек. Его очень не хватает, конечно. Очень не хватает и нашей науке, и нашему научному сообществу.



Н.И. Толстой. Фото с persons-info.com

Так вот, если вернуться к университетским временам, то там были и еще другие замечательные люди. Был замечательный Николай Иванович Либан, который читал древнерусскую литературу. Это был тоже совершенно исключительный человек, исключительный ученый, и тоже это было то старое поколение. Понимаете, это то, что нам повезло застать. У меня с ним был такой эпизод. Я сдавала древнерусскую литературу ему и, конечно, чего-то там не знала. Он говорит: «Я вижу, вы не готовы. Почему?» Я говорю: «Видите ли, Николай Иванович, вчера была годовщина смерти Бориса Леонидовича Пастернака, и мы ездили в Переделкино на могилу, и у меня совершенно не было никакого времени для такой фундаментальной подготовки». Он так посмотрел, говорит: «Хорошо, придете в другой раз. Только вы этого, пожалуйста, никому не говорите». То есть он хотел как-то охранить.



Н.И. Либан. Фото с ic.pics.livejournal.com

Был совершенно замечательный Самуил Борисович Бернштейн. Он издал свои мемуары замечательные, они вышли. Он читал нам введение в славянскую филологию. Человек совершенно исключительных достоинств — в том числе и научных... Самуилу Борисовичу хотелось быть старше его лет. Вот это очень странно. Он носил такую академическую ермолку — вот знаете, как старые профессора, — и выглядел, как будто ему сто пятьдесят лет. Потом, когда я уже пришла в Институт славяноведения, поступила туда в аспирантуру, и он там был тоже. Он был не только в университете, но и в Академии наук. И как-то что-то там собирали — деньги на подарок, на цветы Самуилу Борисовичу к юбилею. И я спрашиваю: «Что, девяносто?» Говорят: «Шестьдесят». Почему-то ему хотелось быть старше. Оказывается, он был совершенно молодой человек.

Ну, был там, конечно, и такой парадоксальный Турбин среди наших преподавателей. Но это уже человек совсем другого разбора. Я говорю вот о тех могиканах — последних могиканах, которых нам... слава Богу, мы успели их увидеть и услышать, и увидеть этот класс, этот масштаб, эту личность. Это, конечно, незабываемо. Я сожалею, что нынешнее поколение не может их видеть и слышать, общаться с ними непосредственно, хотя у последующих поколений, да еще и у нас были и Вячеслав Всеволодович Иванов, и Владимир Николаевич Топоров, и Михаил Леонович Гаспаров. Это все наши учителя.

Вячеслав Всеволодович, слава Богу, жив и здоровствует*. Дай Бог ему здоровья. А Владимир Николаевич и Михаил Леонович, к сожалению, покинули этот мир. Остались их труды, конечно.

* Вячеслав Всеволодович Иванов скончался 7 октября 2017 года.

О В.Н. Топорове, Вяч. Вс. Иванове и о перестроечной жизни Академии наук

Про Владимира Николаевича я тоже могу вспомнить некоторые истории. Мы работали вместе в Институте славяноведения, и, например, когда он приносил свои статьи в журнал «Советское славяноведение», он обычно — ну он такой невероятный перфекционист, и главное, что он всегда был в процессе, он никогда не мог считать, что вот работа завершена и это perfect, он всегда переделывал, миллион раз. Он добавлял сноски, добавлял примечания — расширенные такие, большие тексты. И вот я ждала от него очередного, там, восемьдесят седьмого дополнения, и мы как-то договаривались, а он все не звонит и не звонит. А мне нужно было уходить. И тогда я на свой автоответчик наговорила такой текст: «Владимир Николаевич, если это вы, пожалуйста, принесите ваш текст во столько-то. Я буду в институте тогда-то», то есть такое обращение. Прихожу домой, включаю автоответчик и слышу, что там есть соединение, есть вот такой звук, что кто-то звонит, но дальше только дыхание — и никакого текста. И долго-долго, долго-долго крутится эта пленка, но никакого текста. Потом я встречаю Владимира Николаевича в Институте и говорю: «Ну как же?..» Говорит: «Вы знаете, я вам позвонил. Я, конечно, понимаю, что автомат может говорить какой-то запрограммированный текст, но что автомат может обращаться непосредственно ко мне — этого я не ожидал! И это меня совершенно ошеломило! Я не мог вымолвить ни слова!» Вообще с «вымолвить слово» у Владимира Николаевича были проблемы. Он не любил публичных выступлений. Если вы его остановили в коридоре и задали ему какой-то профессиональный вопрос, он будет два часа стоять с вами и отвечать на ваш вопрос, но выступить на Ученом совете, выступить с докладом с трибуны в Институте — это почему-то было выше его сил. И однажды, когда сектор хотел присвоить Вячеславу Всеволодовичу звание доктора филологических наук по совокупности заслуг, то сотрудники сказали Владимиру Николаевичу, что сейчас он обязан будет выступить, иначе никак не получается. И тогда Владимир Николаевич преодолел себя. Он взшел на трибуну не без труда (психологического, я имею в виду) и сказал такую фразу: «Если Вячеслав Всеволодович не доктор, то какой же я штабс-капитан?» — и сошел с трибуны. И надо сказать, что при всей этой его нелюбви к публичности он, тем не менее, когда началась перестройка, неожиданно для всех нас (все знали, что он просто не выносит ни собраний, ни вот этих вот всяких общественных дел) он стал ходить на наши собрания — вот эти перестроечные, где писались листовки, обращения, протесты. Тогда был жив Андрей Дмитриевич Сахаров. Андрей Дмитриевич, например, говорил, что вот объявляем забастовку. Институты бастуют. Ну, мы все — у нас была инициативная группа, редакционная группа — мы все это писали, расклеивали, разливали смесь «Молотов» по бутылкам, ходили на демонстрации, и вот Владимир Николаевич во всем этом участвовал. Он участвовал в редактировании этих воззваний. Его слово звучало очень веско. Он говорил очень тихим голосом, как бы извиняясь, но всегда все, что он говорил, было стопроцентной какой-то нравственной истиной. Вот как-то так. Он писал немыслимое количество текстов в год, просто немыслимое, и, собственно говоря, физически в Институт он приходил не так часто.



В.Н. Топоров. Фото с philologist.livejournal.com

И вот однажды был такой забавный эпизод. Мы организовали Центр славяно-иудаики в Институте славяноведения. И в Институте нас просто называют «евреи». «Давайте у евреев возьмем этот словарь», «Пойдем к евреям». Ну, как мы называем соседний сектор феодалами. «Пойдем к феодалам», «Спросим у феодалов». Ну и так далее. То есть это просто краткое наименование. И вот Владимир Николаевич как-то приходит в Институт в одно из редких своих посещений, а приехал какой-то лингвист из Израиля с докладом. И сектор структурной типологии славянских языков хочет, чтобы было как-то больше народу, и они говорят: «Ой, давайте... Надо позвать евреев». Владимир Николаевич просто восторжен, окаменел, остекленел, сказал: «Что?! Так говорить нельзя!» «Да нет, Владимир Николаевич!..» Ну, он просто был не в курсе этого институтского фольклора. Потом, я помню, что, когда его дочь поступила на факультет, то сбегались другие студенты и спрашивали: «Вот это дочь Иванова и Топорова?». Ну, видимо, потому, что Вячеслав Всеволодович и Владимир Николаевич очень много вместе писали.

Вячеслав Всеволодович также писал вместе с Тамазом Валериановичем Гамкрелидзе. У них, например, есть двухтомник «Индоевропейский язык и индоевропейцы», за который они получили Государственную премию, и это было очень длительное такое сотрудничество и содружество — я имею в виду Гамкрелидзе и Иванова. Но, к сожалению, предел этому был поставлен... Уже когда начались эти все события: в Грузии и Абхазии. Вячеслав Всеволодович был нашим депутатом Верховного Совета первого созыва. Мы его выбирали, и он перед нами отчитывался о своей депутатской деятельности. Там так полагалось, что то учреждение, которое выдвигает депутата (то есть наш Институт), обеспечивает ему и помещение для встречи с избирателями, и транспорт. Я помню, как я была транспортом — на «жигулях» первой

модели *(смеется)*. И вот ему было такое поручение от избирателей... Когда начался грузино-абхазский конфликт, то Вячеслав Всеволодович был, на наш взгляд, совершенно идеальным кандидатом для разрешения этого конфликта, потому что с Тамазом Валериановичем Гамкрелидзе он был соавтором и многолетним другом, а президент Абхазии, Владислав Ардзинба, был его аспирантом по хеттскому языку. То есть лучшей фигуры для миротворца придумать, казалось, нельзя, и поэтому Вячеслав Всеволодович был отправлен туда, в Абхазию, разруливать этот конфликт. Он вернулся и на нашем собрании докладывал нам, избирателям, о результатах поездки. Результаты были плачевные. Он стал персоной нон грата для всех. Он стал врагом вообще Грузии, и он чуть ли не со слезами на глазах рассказывал нам, что на каком-то собрании грузины доказывали ему, автору фундаментального труда «Индоевропейский язык и индоевропейцы», что в абхазском языке нет слова «море» и поэтому они не имеют права на эту территорию. «Это они мне доказывали, мне», — говорил он, чуть не плача. Вот таковы были доказательства.



Вяч.Вс. Иванов. Фото с novayagazeta.ru

У нас были и другие печальные эпизоды этого времени (я имею в виду перестроечный период, его первые годы). Например, армяно-азербайджанский конфликт. Мы написали письмо в Институт литературы и языка Азербайджанской академии наук примерно такого содержания: «Уважаемые коллеги, мы, российские гуманитарии, обращаемся к вам с призывом остановить кровопролитие...». В ответ было получено письмо с приложенной картой местности, где было написано, что вы, дорогие российские коллеги, гуманитарии, даже себе не представляете, о чем вы пишете, и что армяне — это такой ужасный народ, что, если бы вы их знали, вы бы сами их резали на каждом шагу (я передаю, как вы понимаете,

своими словами общий смысл и тональность). Вы просто не знаете. И вот карта местности, где их никогда не бывало и так далее.

Так что были у нас, конечно, большие сложности. Мы были очень активны в этот период. Мы все вместе ходили на эти протестные демонстрации, причем это было действительно страшно, потому что, например, говорили, что вот для этой демонстрации протеста был отдан приказ войскам стрелять на поражение.

А.Г.: Когда это было?

В.М.: Ну это первые годы перестроечные. Какие-то 1980-е. И поэтому организаторы просили, чтобы все взяли шарфы и воду, потому что «они» будут там какое-то химическое оружие применять. Надо смачивать эти шарфы, дышать через мокрое; чтобы мужчины шли по краям, а женщины — в центре. В общем, вот это все — это просто невероятно. И я помню, как мы колоннами шли по Калининскому проспекту, с этими шарфами и с этой водой, и перед окнами роддома Грауэрмана, где я родилась, и где я родила своего ребенка, ходит какой-то человек с плакатом на палке (тогда было очень много креатива, я пыталась записывать, но когда идешь в колонне, это не очень удобно, а ай-фонов у нас тогда не было): «Бабы! Не рожайте коммунистов!» Замечательно! Он этот плакат не нам, идущим по проспекту, а он бабам, роженицам показывал!

Вообще я даже старалась что-то записывать, какие были... Были замечательные лозунги совершенно. Это мне нужно как-то поворошить какие-то архивы, что именно... Но тогда это был какой-то всплеск, конечно, такой креативности. И, между прочим, вот я хочу подчеркнуть, что эти люди как бы академические, как бы живущие, можно подумать, в башне из слоновой кости, занимающиеся наукой, они тем не менее как-то включились... Прежде всего Владимир Николаевич Топоров или Владимир Антонович Дыбо, наш гениальный лингвист, — он ездил тоже на все эти собрания, заседания, протесты, или... Я тут хочу упомянуть человека, конечно, совершенно другого поколения, но тоже просто гения. К сожалению, его нет с нами уже — Евгений Арнольдович Хелимский. Это был специалист по угро-финским языкам и, казалось бы, тоже совершенно отрешенный человек, отрешенный от земного, бытового. Тем не менее он тоже бросился в эту гущу вместе с Дыбо, вместе с Владимиром Николаевичем Топоровым, и мы вместе ходили... Например, я помню какую-то нашу демонстрацию — в годовщину красного террора. И мы так вот шли, тоже держась, а Вячеслав Всеволодович нам говорил: «Вам что, так хочется получить палкой по башке? Хотите, я могу вас побить палкой по башке, если вы...» Женя Хелимский, Евгений Арнольдович, умер в Гамбурге от рака. К сожалению.

Вот это поразительно, понимаете, когда академические люди, кабинетные ученые, совершенно не предназначенные ни для каких подобных акций, не подготовленные... У них совершенно не такой темперамент. Тем не менее они вот так включались. Я уж не говорю про нашего гениального византиниста Сергея Аркадьевича Иванова, который самым активным образом тоже участвовал. Я помню, что я ему как-то звоню... У нас же были такие, знаете, ячейки, тройки... Мы перезванивались. Я ему и говорю: «Сереза, Вы знаете, я Вам как кто сейчас звоню?» Он говорит: «Вы мне звоните как товарищ по партии». Это всё... Понимаете, это, конечно, печаль, смешанная со смехом. И было столько юмора, было столько энтузиазма в эти перестроечные годы. Юмор — это как бы средство пережить трагедию.



Митинг в Москве 4 февраля 1990 года. Один из главных лозунгов — отмена ст. 6 Конституции СССР, утверждавшей ведущую и направляющую роль КПСС. Фото с forbes.ru

О параллельной литературной жизни

Мы так жили и когда учились в 1960-е годы на факультете. Например, у нас был в университете конкурс на лучшее изображение голоса правителя. Тогда был Хрущев. Я, по-моему, заняла какое-то почетное, не знаю, четвертое, что ли, место. Я помню свое... Мы репетировали, тренировались. Моя речь была такая... Сейчас попробую воспроизвести. Но вы Хрущева, наверное, вообще никогда не слышали.

А.Г.: Нет, никогда.

В.М.: «И пусть помнят господа империалисты, что над ними как Дамоклов меч будет висеть наша стоипятидесятигигатонная бомба!» («г» было фрикативное). Но я не первое место заняла. Там были получше, конкуренция была огромная. Но все репетировали. У него были замечательные такие куски. Так что мы были, жили при Хрущеве. Надо сказать, что мы их всех... даже не могу сказать «ненавидели» — мы их презирали и смеялись. И вся эта кавалькада потом... Ну, может быть, Брежнев был какой-то вегетарианский — такой больной дедушка. Его окружала масса анекдотов. Есть такой фольклор... Ну, во всяком случае, они не определяли нашу жизнь, не задавали тон. Что интересно — что все существовало. Свободное слово — оно просто существовало подпольно. Просто мы читали книги, но мы читали не так, как мы читаем сейчас. Книга передавалась на одну ночь в руки. Книга покупалась на черном рынке. Например, мы с моей подругой, однокашницей университетской, поехали покупать... Мы, по-моему, Мандельштама, что ли, хотели купить. Американское издание, естественно. Продавались фотокопии, ксерокопии и так далее. И это происходило у памятника первопечатнику, вот эта толкучка. Мы туда приехали. К нам подошел какой-то человек невзрачного довольно вида и сказал: «Девочки, что вам здесь нужно?» Говорим: «Ну, книжки. Как всем». Он говорит: «Вы знаете, что? Вам здесь находиться не нужно. Здесь берут в милицию. Отвозят, забирают. Это очень рискованно. Вы маленькие

девочки». Ну, мы были на каком-то там первом курсе. «Вот вам мой телефон. Все, что вам нужно, вы мне звоните и говорите — и я вам это предоставлю. Ксерокопию, фотокопию какую угодно. Но не ходите сюда».

Вот, там был, например, такой замечательный — очень показательный — случай. С книжками ведь вообще с любыми были сложности. Да, с любыми. Не обязательно американское издание Цветаевой. Нет. Просто любые книги было трудно достать. Кому-то нужно было для ребенка купить «Остров сокровищ» Стивенсона. Ну, просто вот купить, пойти в книжный магазин и купить — нельзя. Поэтому этот человек едет к первопечатнику Ивану Федорову. Подходит к кому-то. Там шныряли всякие сомнительные типы, дельцы такие. Подходит и говорит: «Остров сокровищ» есть?» Тот говорит — так понимающе на него смотрит: «Сейчас. Идемте». Подводит его к другому, говорит: «Остров сокровищ». — Говорит: «Понятно». — Ведет его к третьему, к четвертому. Это цепочка. Это все, понимаете, подполье. Все шифруются, все прячутся. В общем, он к какому-то пятому его отводит. Пятый его ведет в какой-то подъезд и дает ему завернутую в газету книгу. Говорит: «Откроете дома. Спрячьте. Уберите». Тот платит деньги. Приезжает домой, разворачивает — там «Архипелаг ГУЛАГ». Это было кодовое название! Так что у нас все было. Просто надо было знать... Понимаете, в этом мире книжном все знали, что как называется. Вы не будете говорить: «Архипелаг ГУЛАГ». Вы будете говорить: «Остров сокровищ». Это кодовое название.



Книжный развал у памятника первопечатнику. Фото 1975 г. Ю. Абрамочкина / РИА Новости. Взято sa-dedushkin.livejournal.com/1192403.html

А.Г.: А гэбэшники там разве не ходили среди них?

В.М.: Может быть, и ходили. Поэтому вот этот наш агент — мы много лет с ним потом сотрудничали, очень много лет. Пока не наступила свобода. У меня есть замечательное издание Мандельштама на фотобумаге... Они такие все гнутые. А был же анекдот: родители приходят к ксерокописту и говорят:

«Сделайте нам, пожалуйста, ксерокс «Войны и мира». Он говорит: «Зачем? Это ж продается, это же есть». Говорят: «Ну вы знаете, дело в том, что у нас ребенок по-другому не читает».

А мой коллега (к сожалению, ныне тоже покойный) профессор Александр Анатольевич Илюшин, который преподавал историю русской литературы на филфаке МГУ (недавно я была там на его поминальном вечере, к сожалению) мне жаловался. «Боже мой! Они же уже всё издают! (началась перестройка, уже все открылось, оковы тяжкие пали, там, темницы рухнули, и свобода) У меня же студенты не будут читать! Остались только Ходасевич и Гумилев! Всё! Два! Только два автора остались! Если они издадут Ходасевича и Гумилева, всё! Это будет конец! Студенты не будут читать!».

У нас, конечно, была и всякая такого же тайного рода научная жизнь. Это были квартирные семинары — у математиков свои, у физиков свои, у литературоведов свои. И, например, наш литературоведческий семинар вел Миша Шейнкер, и Миша Шейнкер совершенно твердо сказал, что мы не будем рассматривать произведения, которые опубликованы. Только самиздат — были же журналы, они выходили (в Питере, например, журнал «37»), то есть существовала подпольная литература, это огромный такой пласт. Я говорю Шейнкеру: «Миша, ну, например, Окуджава — он же издается». — «Значит, мы его не рассматриваем. Принимает «причастие буйвола». Всё! Мы рассматриваем только Лену Шварц, ну вот всё, что...».

Однажды редактор питерского подпольного журнала, гениальный поэт Виктор Кривулин ехал в Тбилиси на встречу с коллегами — с их подпольным грузинским журналом «Цискари» («Утренняя звезда»). Ну, он едет через Москву, останавливается у нас, едет дальше в Тбилиси. Не летит, конечно, таких денег не было. И возвращается из Тбилиси опять через Москву и рассказывает о своем потрясении. Тут печатали — ну знаете, как: «Эрика берет четыре копии». Этот журнал издавался на папиросной бумаге. Это все в ужасных, чудовищных условиях и в чудовищном виде. Кривулин приезжает в Тбилиси. На вокзале его встречают грузинские коллеги, издающие подпольный (!) журнал «Цискари». Они выходят на привокзальную площадь. Там стоит белый лимузин и золотом по борту что-то написано – грузинскими буквами. Он спрашивает: «Что это написано?» Они говорят: «Как что? «Цискари». Название нашего журнала». Он приезжает в редакцию, и там его потрясает то, что у них пишущая машинка (мы же писали тогда на пишущих машинках) с кареткой, где шесть языков. То есть вы ее поворачиваете, печатаете по-грузински, переворачиваете — латинский шрифт, переворачиваете — русский шрифт, переворачиваете... У них такая была аппаратура! И это при советской власти! И это когда Кривулина снимают с поезда, когда он едет со своей миссией, понимаете. А в Грузии совершенно другая атмосфера, другой воздух, другой...

И они, кстати сказать, ведь и не потеряли ни языка, ни культуры. Вообще было большое разнообразие, если сравнить все республики. Если в Белоруссии все задушили, если Украину топтали и душили (не додушили, но все-таки все было под запретом там), то в Грузии как-то все было можно.

Вот, у меня какие-то воспоминания, как лоскутное одеяло, такие.

В университете более старшее поколение — там были блистательные имена. Это не наши курсы, а старшие. Ну, скажем, Татьяна Михайловна Николаева, недавно, увы, ушедшая от нас, член-корреспондент Академии наук, великий лингвист. Александр Жолковский. Юрий Щеглов. Мариэтта Омаровна Чудакова. Вот это вот такие курсы, понимаете? Вот это такие люди, это созвездие просто какое-то. Может быть, за исключением Мариэтты Омаровны, которая здесь осталась, или Татьяны Михайловны Николаевой, которая тоже здесь осталась, эти звезды переплыли в другую галактику — в американскую галактику.

О Лео Абрамовиче Мазеле

Александр Константинович Жолковский, уезжая, просил меня как-то опекать его папу, который оставался здесь один — пожилой человек, вдовец. Ну, и я, конечно — долг дружбы, и я старалась его навещать, беседовать с ним, развлекать его. Это был человек совершенно необычайный. Мне очень было интересно его устройство, его взгляд на мир. Понимаете, он был взглядом на мир не сегодняшнего человека и,

может, даже не вчерашнего, а какой-то такой взгляд на мир из того пространства, где существовали ценности, нравственность, порядочность, достоинство. Вот это вот все. И очень странно было это видеть среди нашего этого бедлама, еще советского. Но Лео Абрамович был абсолютно независим от происходящего. То есть понятно, что он не мог быть вообще независим, но при этом он пребывал в каком-то другом мире. Вот — в другом. И это было очень отчетливо видно. Ну, например, он рассказывал мне о своем московском детстве, где у него были бонны, гувернантки. Он из такой как бы просперирующей еврейской семьи. И вот однажды его гувернантка (а гувернантка — это образованный человек, который обучает ребенка), обратилась с каким-то вопросом к его отцу, а отец был занят в это время, что-то писал, чем-то занимался, и сказал: «Вы знаете, я не могу сейчас в это погружаться. Вот барыня придет, вы у нее спросите». Гувернантка оскорбилась, потому что для нее она была не «барыня», а Роза Савельевна. «Барыня» она была для няньки, кухарки, для прислуги. А для гувернантки, человека с образованием, она была не «барыня», а — Роза Савельевна. Она оскорбилась и сказала, что уйдет. Что она не будет работать в таком доме. Папа потом опомнился, извинялся, что он был, ну, как-то... не включился в ситуацию. Она ушла. Он оскорбил ее достоинство. Вот такие тонкие нюансы.

А.Г.: Лео Абрамович рассказывал эту историю?

В.М.: Да, Лео Абрамович мне рассказал эту историю.

А.Г.: В какие годы это было?

В.М.: Ну, Лео Абрамович 1907 года рождения. Значит, это могло быть, когда ему было лет шесть-семь. Другая, например, история (это все с его слов): «У Столыпина было довольно много прислуги. Но когда Столыпина убили, то столько прислуги не понадобилось, и поэтому кухарку Столыпина мои родители взяли к себе — кухаркой же, и она у нас некоторое время пребывала. Когда же была Первая мировая война, у москвичей была обязанность располагать у себя в квартире раненых. И нам достался раненый австрийский солдат. Он жил при кухне, и вот что меня удивляет: он не владел русским языком, а столыпинская кухарка не владела немецким, они тем не менее как-то поладили друг с другом и даже решили пожениться. И вот наступает время расставания, и столыпинская кухарка приходит к моей маме прощаться, но при этом она рыдает и говорит: «Как же так! Вот я выхожу за этого бусурманина, и вот мы с ним сейчас поплывем в эту Вену! А он меня в море с корабля-то и столкнет! И я утону!» Ну, мама ей объяснила, что по дороге из Москвы в Вену никакого моря не встретится, и она успокоилась. Все-таки это замечательные эпизоды. Ну, война, значит, и москвичи были обязаны квартировать у себя раненых. Видимо, не хватало места.

Еще у Лео Абрамовича была выдающаяся бабушка. О ней он рассказывал очень много. Ну, например, говорил так: «Моя бабушка была большая интернационалистка. Вот мы живем на даче. Кто-то прибегает и говорит: «Человек попал под поезд! Человек попал под поезд!» Бабушка спрашивает: «А гой одер а ид?» (=Русский или еврей?). Ей говорят: «А гой» (=русский). «Тоже жалко». Эпизод был...

А.Г.: Широты ее натуры.

В.М.: У него был гениальный дядя — Павел Урысон, математик, который очень рано определил, что Лео Абрамович станет ученым. Потому что та же вот замечательная бабушка говорит: «Я везде ищу этот клубок ниток! Я уже искала везде, где он может быть! Куда он закатился? Его нигде нет!» А маленький Лео говорит: «Бабушка! Ты совершаешь ошибку. Ты его искала везде, где он может быть. А ты его должна искать там, где он *не* может быть». Павел Урысон, математик, услышав это, сказал: «Лео! Ты будешь ученым!».

Еще из таких детских его замечательных воспоминаний: дети во дворе играют в лапту, выходит какой-то мальчик, стоит, смотрит на их игру и говорит: «Господа! Остановитесь! У меня есть важное сообщение! Умер Карл Каутский». Ну, игра останавливается. Все, конечно, в недоумении бегут по домам. Но очень быстро оказывается, что Карл Каутский не умер, а жив. И Лео потом говорит этому мальчику: «Зачем же ты так сказал? Ведь это ложь на коротких ногах. Зачем ты так соврал — ведь это сразу

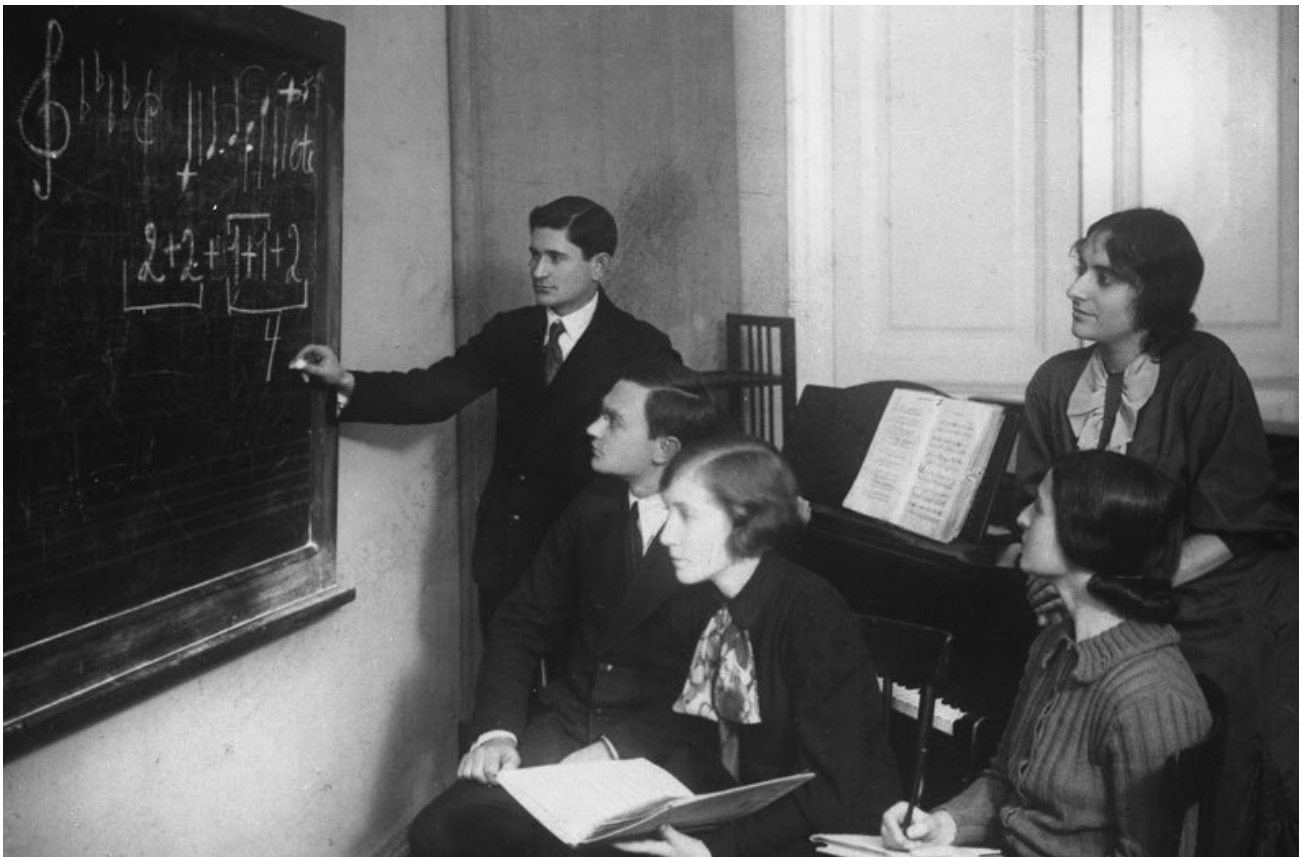
же обнаруживается?». Он говорит: «Ну, понимаешь, вот я вышел, а вы все играли в лапту... не обращали на меня внимания... и у меня не было фразы, с которой войти». Представляете, это дети вот тех лет, дети начала века. «Фраза, с которой войти»...

Еще Лео Абрамович был заядлый шахматист. И вот был матч Каспарова и Карпова. Ну, Вы помните, да? Это были такие две очень разные личности — полярно противоположные. Карпов был такой советский-просоветский. Каспаров тоже был член КПСС, между прочим. Но... Неважно, но все равно он был как бы... И я спрашиваю Лео Абрамовича: «А Вы за кого болеете?». Говорит: «От всей души желаю обоим соперникам поражения».

А.Г.: Почему?

В.М.: Ну, Вы знаете, я ведь тоже, когда прочла в «Литературной газете» интервью с Каспаровым, то была очень разочарована: это очень, очень неинтересная личность. Абсолютно неинтересная. Карпов-то просто советский, просоветский, комсомольский, КПССный, но этот — абсолютно неинтересный. Я потеряла к нему интерес тогда же. Вот, Лео Абрамович, видимо, тоже.

Лео Абрамович, значит, в 1949 году стал «космополитом безродным». Его отовсюду вышвырнули, но, что интересно, среди его учеников, выпускников, студентов был человек (если я не ошибаюсь, Иван Васильевич Петров), который стал ректором Института военных дирижеров, и он его взял к себе. Потому что Консерватория относилась к ведению Министерства культуры, а Институт военных дирижеров — Министерства обороны, и Министерству культуры не подчинялось. И он взял его преподавателем, и Лео Абрамович преподавал в Институте военных дирижеров (1949–1956). Ну что там были за персонажи среди студентов — это понятно. Он много раз это рассказывал. В профессорской он говорил: «Пойти, что ль, преподнуть?». Ну, он, естественно, был бесконечно благодарен Ивану Васильевичу Петрову, потому что он таким образом, в общем, как-то продержался. Не умер с голода.



Занятия в классе музыкальной формы у Л.А. Мазеля. Слева направо: Л.А. Мазель, В.В. Протопопов, Т.Н. Федорова, Г. А. Балтер, Н.Р. Котлер. 1930-е годы. Фото

Слава Богу, что многие истории Лео Абрамовича записаны, и их записывал и публиковал и его сын Алик Жолковский. Ко мне обратился журнал «Музыкальная академия», когда они отмечали столетие. Лео Абрамович (если он 1907 года, то соответственно в 2007 г.). И я тогда написала им [статью о нем](#), они опубликовали. И его собственные истории все, конечно, старались записывать, потому что, вы знаете, у него была такая четкая память: он помнил детали, абсолютно все четко*... Вот у него совершенно не было никакой амнезии. Это поразительно. Я, конечно, ничего подобного такому человеку в своей жизни близко не встречала. То есть абсолютно все рассчитано, все математически, все подсчитано — включая эпизод, как он живет в Трубниковском переулке, где трое соседей и где происходит ночной звонок, и он, как математик, думает, что, значит, это тридцать три и три десятых, и три в периоде процента, что пришли за мной, но пришли не за ним. В другую ночь, когда опять был ночной звонок, и это всем понятно, зачем звонят ночью, он подумал, что теперь пятьдесят процентов вероятности, что пришли за ним. Пришли и на этот раз не за ним, и он остался один в этой квартире. Он решил: следующий звонок — это уже будет сто процентов моих. И он съехал.

А.Г.: И это его спасло?

В.М.: Да, это его спасло. Он выжил. Он никогда не сидел. Понимаете? И это все, с одной стороны, понимание времени, а с другой стороны, такой какой-то математический острый взгляд. Но вот перестроечное время он встретил с восторгом и сказал: «О, я не рассчитывал на то, что рухнет советская власть. Я просто не мог об этом мечтать. Но она рухнула, и я бы хотел умереть именно в этот день. Я бы тогда умер абсолютно счастливым человеком, потому что советская власть рухнула, а еще не режут на улицах». А я говорю: «Вы что, считаете, что будут резать?» Он говорит: «Да непременно! Не может быть по-другому». Понимаете, человек, который вот видел столько всего. Ну, я, может быть, очень много говорю про Лео Абрамовича, потому что он, конечно, и произвел на меня огромное впечатление, и вообще имел какое-то влияние, и потому, что это совершенно уникальная фигура — я ничего подобного ему, конечно, не встречала. Ну, понимаете, у нас же не бывает так, что мы общаемся дружески с людьми поколения наших дедушек, правда? Это как-то не очень часто бывает, а тем более с человеком, который так вот все формулирует и так все четко понимает, и дает всему такую определенную и моральную оценку. Вот, с нашими дедушками же как? Ну, «дедушка старый, ему все равно»...

Мой дедушка, скажем, Моисей Яковлевич Керштейн, которого я, конечно, очень любила, но ничего подобного от моего дедушки не слышала... Он жил во Хлыновском тупике. Это напротив театра Маяковского. Там теперь клуб «Гнездо глухаря». Вот просто буквально там была квартира моего дедушки и бабушки. И, когда мой дедушка болел и лежал там на постели, я увидела, что у него какие-то такие рыжие пятна, ну, какие-то крупные веснушки или что-то вот такое на руках. Я его спросила: «Что это у тебя? Что это такое?» Он говорит: «Это значит, жабка, («жабка» — это по-польски «девочка», он же был польский еврей), — что я скоро умру». И я тогда придумала средство для бессмертия. Я решила, что я буду сидеть рядом с дедушкой и вот так вот держать ему веки, и они не закроются, то есть он не умрет. Это было изобретение. Ну, я не могла все время сидеть с дедушкой. Я училась в школе. Кстати, напротив бывшего театра Михоэлса.

* Уникальная видеозапись, сделанная М. Аркадьевым в марте 1997 в доме Л.А. Мазеля. Лео Мазель рассказывает свои знаменитые новеллы: <https://www.youtube.com/watch?v=cw914hWL6dk&t=4s>



Дедушка Моисей Янкелевич Керштейн и бабушка Соня Григорьевна Марголина

Дедушка приходил из своего Хлыновского тупика смотреть, как я иду в школу, провожать. Дедушка был прекрасный. Вот тут его портрет. Ну вот в золотой такой рамке. Это мой дедушка, бабушка и тетя. Он был, между прочим, естественно, в Царстве Польском, у помещика Слотвинского фактором по лесу. Он занимался деревом: сплавом леса, древесными всякими поставками. А помещик Слотвинский, владелец, — у него было шестнадцать поместий в Белоруссии, а в местечке Рованичи — его особняк, может быть, это было его центральное имение. Оно вообще воспроизводится в путеводителях, поскольку это образец классицистической дворцово-парковой архитектуры. Изумительной красоты. Сейчас это являет собой руину. Я ездила, смотрела, все сняла. Увы, руина. Но это бриллиант действительно, и это парковая архитектура тоже, что-то невероятное. Озера на трех уровнях, понимаете?

А.Г.: Наверно, парк сохранился, да?

В.М.: Парк сохранился. Озера сохранились. А вот имение — это руина, к сожалению. Очень, конечно, красиво. Это все видно, и дедушка был у него фактором по лесу, но интересно: предок этого Слотвинского — это прообраз Дубровского.

А.Г.: Да?

В.М.: Да! Да, я все выясняла. Но и даже в старости дедушка не оставил своей этой профессии деревянной, и во время войны дедушка руководил фабрикой в Ермише по производству деревянных прикладов для автоматов. То есть понимаете — свою эту профессию по дереву он пронес через всю жизнь.

А.Г.: И дедушка переехал в Москву?

В.М.: Да, они в 1920-е годы все переехали. Всем штетлом снялись и переехали. Все жили вместе — Бронные, Патрики, все в пределах Садового кольца... Все местечко и все родственники. А сейчас они все лежат в Востряково — и тоже рядом. Прямо все местечко. В соседнем местечке, между прочим, в Смиловичах, жила семья Хаима Сутина, и моя свекровь, Рива Самуиловна Дорфман, которая из этих Смиловичей, мне рассказывала как бы такую майсу на тему «в семье не без урода», что у них в местечке был один портной: «Вот у нас был сосед Сутин. У него было одиннадцать детей. Десять нормальных, а одиннадцатый — просто идиот. Хаим. Его абсолютно нельзя было ни к какому ремеслу приучить. Он только что-то чертил на бумажках, чертил, чертил. А потом уехал в Париж. В семье ж не без урода».

А.Г.: А бабушка чем занималась?

В.М.: Ну, бабушка... Бабушка ругала дедушку (*смеется*). У них было четверо детей... Меня совершенно потрясло это общение с Лео Абрамовичем, а от моего дедушки у меня не было таких впечатлений. Они были совершенно какого-то иного рода.

А.Г.: Я еще бы хотела спросить про Лео Абрамовича: как вышло, что он одновременно был и математиком, и астрономом, и...

В.М.: Лео Абрамович в 1930 г. одновременно окончил математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и отделение научно-композиторского факультета Московской консерватории, а в 1932 г. — аспирантуру в Консерватории. И далее связал свою жизнь именно с музыкой, был профессором консерватории, написал множество трудов... Все это отражено в энциклопедиях. Вы можете спросить любого нашего композитора, исполнителя, теоретика-музыковеда, что ему говорит фамилия Мазель. Все у него или на его трудах учились. Все — Шнитке, все...

А.Г.: И потом он вернулся в консерваторию после конца борьбы с «космополитами»...

В.М.: Да. Ну и потом он писал свои фундаментальные труды по теории композиции. Его невозможно было не ценить. Люди, конечно, восхищались его умом, остротой, вот этой мгновенностью реакции. У него был брат Юлий, который погиб на фронте, и Лео Абрамович мне подарил его одну литературоведческую книгу (он был филолог).

А.Г.: Расскажите, пожалуйста, эту историю про Лео Абрамовича и Нейгауза.

В.М.: Да-да-да. Значит, Лео Абрамович преподает в Московской консерватории. Идет он по коридору. Из аудитории выскакивает Генрих Нейгауз. Весь трясется. Подбегает к нему и говорит: «Лео! Лео! Я понимаю, я допускаю, что они толстовцы, что они не противятся злу. Это я понимаю. Но почему они так противятся добру?»

У Лео Абрамовича про Консерваторию было немыслимое количество майс. Многие это записывали, потому что это бесценно. И это ушедшая натура. Я просто так бесконечно ценю Лео Абрамовича, потому что, понимаете, в наши времена ничего подобного не существует. Как и Михаила Леоновича. Как и Владимира Николаевича. Понимаете, их нет и не будет. Ну, правда, сейчас уже и Пригова нет и не будет.

О людях «из бывших» в ФБОН

А.Г.: Ну вот в том-то и дело. Я думала, что, может быть, вы расскажете потом отдельно, например, про Ленинку. Как вы там работали, как туда пришли.

В.М.: Нет, я не работала там как «работать». Это работал Ковельман там. Я там...

А.Г.: Вы рассказывали, как вы после университета...

В.М.: Нет, ФБОН. Наша академическая. Не Ленинка. Ой, это замечательно было! То, что сейчас ИНИОН называется. Это было вообще потрясающе. Это был оазис для «бывших». Там была Эрнестина Борисовна с буклями такими. Ей было девяносто шесть лет. Понимаете? Значит, я туда пришла, кончив университет. Это было просто нечто. Это был ФБОН, и они тогда находились — знаете, где? Там же, где 57-я школа. Это называлось «Кырлы-Мырлы». Этого, как его... Карла Маркса и Энгельса. Вот этот роскошный особняк на углу. Вы знаете, какие там люди работали? Померанц. Вот эта Эрнестина Борисовна — я не помню ее фамилии, но она на меня произвела впечатление... Ну, девяносто шесть лет человеку. И человек ходит, работает. Мы делали реферативный журнал, то есть всю поступающую иностранную литературу на разных языках мы должны были описывать и аннотировать. И это был реферативный журнал. Значит, Эрнестина Борисовна, дама из «бывших». Если ей в шестьдесят, там, каком-то восьмом году было девяносто шесть

лет... Я не могу даже посчитать, когда она родилась. Она говорила так: «Господа... Я хотела пойти пообедать. Зашла в кафетерий, но там был гегемон в грязных робах...».

Там был Григорий Померанц. Все сидели в читальном зале в большом этом особняке. Это угол Знаменки и — как теперь называется это, где 57-я школа? Тогда это была Маркса и Энгельса, а теперь...

А.Г.: Колымажный переулочек*.

В.М.: Вот угловое здание — это была ФБОН: Фундаментальная библиотека общественных наук. Значит, в читальном зале каждый сотрудник имел перед собой вот такую стопку литературы на разных языках, которую он должен был пролистать, прочесть и проаннотировать. И дальше издавался реферативный журнал. Там: «вышла книга по истории Византии, в ней говорится о...» Вот так, вот так. Все они читали на всех языках. Я при поступлении после университета честно написала, на каких языках я читаю. Немецкий, французский, польский, чешский. А мне принесли вот такую стопку, совершенно не соотносясь с моим заявлением. И я сижу и тупо смотрю в текст. А моя начальница этого отдела, Ольга Антоновна Барыкина (про нее тоже... потрясающий персонаж) говорит: «Вика, а что вас смущает, собственно говоря?» Я говорю: «Ну... язык». Она говорит: «А что — язык? Вы прочтите и проаннотируйте». Вы знаете, она это как-то так сказала... Вот какая-то суггестия была, что я стала читать и как-то так...

А.Г.: И аннотировать.

В.М.: И аннотировать, да. Я так понимала, что это вот «резеарх» — это «research». Я к тому времени не знала английского языка. Все они — им было абсолютно безразлично, на каком читать. Они все читали на всех языках. Там была Майя Улановская, жена Анатолия Якобсона, который, кстати сказать, преподавал у меня в школе литературу...

Майя Улановская нам там рассказывает, что их сына Сашу принимали в пионеры на Красной площади. И сейчас этот Александр Якобсон — израильский историк. Я уже его видела в этом статусе. А тогда... Майя, его мама, рассказывала, как его принимали в пионеры. Значит, ему десять лет, или сколько. И после того как им повязали галстуки перед Мавзолеем на Красной площади, их провели вдоль стены, где похоронены деятели советского государства, и там — могила Сталина. И Саша рассказывает маме, Майе Улановской: «Представляешь, мама, три мальчика положили цветы на могилу Сталина». Майя говорит: «Три! Какой ужас!» «Ну что ты, мама. Это такой прогресс по сравнению с детским садом!».

Среди этих людей там был Энгельгардт, Григорий Померанц... Сама же Ольга Антоновна Барыкина, царство небесное, была из «бывших». И вообще они все были так или иначе из диссидентов, из «бывших». Я понимаю теперь, что это был какой-то такой оазис, какая-то такая ниша для диссидентов, для «бывших», для вот таких вот всяких, которых можно просто посадить, чтобы они читали и аннотировали, да? Никуда они оттуда не высовываются.

А.Г.: Но это как-то вслух не обсуждалось? Взгляды...

В.М.: Нет. Совсем нет. Совсем нет. Но все они были одного пошиба, как я понимаю, да? Эрнестина Борисовна — из «бывших», Майя Улановская и Толя Якобсон — понятно, да? Диссиденты. Померанц, Энгельгардт. Но они вслух ничего такого не обсуждали. Ну вот, кроме... вот такого рассказа Майи Улановской про Сашу. Ну, это такая кулуарная беседа. А эта Ольга Антоновна... Я не знала, что она из «бывших», но мне пришлось это узнать — случайно. Потому что моя сестра Нина вышла замуж за чеха и переселилась в Прагу, и в Праге она сдружилась с представителями и потомками белой эмиграции, с этими замечательными людьми. И поэтому, когда я туда приезжала, я тоже с ними общалась. Они знали Цветаеву... Понимаете, да? Это вот белая эмиграция. Кстати сказать, очень интересно: когда я приезжала в Прагу и что-нибудь им такое критическое рассказывала про нашу страну, они поджимали губы, и вообще я видела, что им это не нравится, потому что это великая Россия. Они помнили о великой... А это были уже, конечно, дети белых эмигрантов. Не само это цветаяевское поколение, а уже вот дети. Они приехали детьми, но у них был миф о великой России — потрясающей, изумительной. Им родители рассказывали, какая это страна, и поэтому им не хотелось ничего такого слышать. Ну, так я и перестала рассказывать. Например, это семья Кельчевских, которые все георгиевские кавалеры, и их фамилия записана

в Георгиевском зале Кремля – как георгиевских кавалеров. Кстати, всех мужчин этой семьи зовут Георгиями. Звали. Царствие им всем небесное. И вот как-то в очередной раз – я к сестре в Прагу ездила регулярно — эти Кельчевские мне говорят, что у них есть родственница (ну, это дворянские фамилии), и вот мы ей хотим послать какую-то, посылочку с вами. Вот ее адрес. Пожалуйста, будете в Москве — вот отвезите. Я, разумеется, беру какую-то передачку, эту посылочку, приезжаю в Москву, иду по этому адресу. Звоню. Открывает дверь моя начальница Ольга Антоновна Барыкина. Тут взаимное какое-то «не ожидала». Она была такая дама. Я ее, помимо работы в этом ФБОНе, встречала в консерватории. Вечно в шляпках. Вечно печать — из «бывших» — на ней лежала. Но дома это было еще круче. Я говорю, вот, Ольга Антоновна, это вам передача от ваших родственников из Праги, тут у нас паззл сложился случайным образом. И тут выкатывается из какой-то задней комнаты на кресле-каталке ее тетушка. Сто пятьдесят восемь лет или девятьсот. Такая в чепчике кружевном и вся вот в таких кружевах, и она выкатывается на кресле, а Ольга Антоновна ей говорит в рожок, в ухо: «Тетушка! У нас гости!» Тетушка так благостно смотрит на меня и говорит: «А князь Барятинский будет?» *(смеется)* Ну, Ольга Антоновна ей говорит: «Будет, тетушка! Будет!» Вот, представляете, да? Это ФБОН.

А.Г.: Вот это история.

В.М.: Ну, потом я, к сожалению, конечно... Рассталась с ними, потому что поступила в аспирантуру.

А.Г.: И сколько там проработали?

В.М.: Ой, ну меньше года. Меньше года. Теперь мне очень жаль. Я могла бы в эту аспирантуру потом поступить. То есть, понимаете, вот эту уходящую натуру, этого Померанца, Энгельгардта, эту Майю Улановскую... Ну, Майя — вскоре они уехали в Израиль. Но все-таки. Если бы я тогда понимала, что нужно брать интервью у этих людей или записывать, что они говорят, или... Увы. Увы.

Дальше я уже поступила в аспирантуру. Ну, в Институте тоже был совершенно замечательный человек — Игорь Федорович Бэлза, профессор-музыковед. Царствие небесное. С его сыном, Славой Бэлзой, ныне, увы, тоже уже покойным, я была на одном факультете, потому что он тоже славист. Ну, скажем, он был на пятом курсе, а я была на первом. Ну не важно, это все равно наша славистическая бранжа... Мы, конечно, как-то общались. А Игорь Федорович Бэлза был замечательный музыковед. Он был, кстати, моим руководителем по диплому еще в университете. Я сознательно его выбрала, хотела быть у него. Он мне давал очень своеобразные наставления. Он говорил: «Я вас возьму, дитя, в Институт славяноведения. Я вам хочу преподать некоторый урок, дитя. Вот у нас недавно в Институте славяноведения было собрание, посвященное осуждению подписантов. Некоторые сотрудники подписали письмо в защиту Синявского и Даниэля. Нам было предписано осудить их за это. И вот представьте: один коллега проголосовал вместе со всеми за осуждение этих подписантов (а это Иванов, Топоров и другие), а после этого подошел к подписантам и пожал им руку, сказал, что он их уважает. Таким образом, дитя, он выполнил и свой гражданский, и свой человеческий долг» *(смеется)*. Я спрашиваю: «Игорь Федорович, а что тут — гражданский, а что из этого — человеческий?». Ну, в общем, при этом надо сказать, что этих подписантов везде вышвыривали, преследовали, выгоняли, но в нашем Институте славяноведения провели лишь вот такое формальное собрание. Они все остались на своих местах, на своей работе. Никто ничего не потерял. Их из Института не выгнали. Понимаете, это же важно. Может быть, это потому, что наш тогдашний директор, Дмитрий Федорович Марков, был репрессирован при Сталине. Может быть, и этим объясняется. Я не знаю. Но это был институт без шекспировских страстей, без уничтожений, преследований и так далее. Вот люди продолжали работать, оставались на своих местах. Это важно. Никакой тут крови, вот этого не было в нашем Институте в эти советские времена. Так что это был мой научный руководитель по диплому Игорь Федорович Бэлза, совершенно замечательный.

Текст авторизован В.В. Мочаловой

* Малый Знаменский переулок (в 1960—1994 — часть улицы Маркса и Энгельса).

